

День рождения инфанты

Это был день рождения Инфанта. Ей исполнилось ровно двенадцать лет, и солнце ярко светило в дворцовых садах.

Хотя она была настоящая Принцесса, и при том наследная Принцесса Испанская, день рождения у нее был только один за весь год, как и у бедных детей, и потому, естественно, для всей страны было чрезвычайно важно, чтобы погода ради такого дня была хорошая. И погода действительно была очень хорошая. Высокие полосатые тюльпаны стояли, вытянувшись на своих стеблях, как длинные шеренги солдат, и вызывающе поглядывали через лужайку на розы и говорили им:

– Смотрите, теперь мы такие же пышные, как и вы.

Порхали алые бабочки с золотой пылью на крылышках, навещая по очереди все цветы; маленькие ящерицы выползали из трещин стены и грелись, недвижимые, в ярком солнечном свете; гранаты лопались от зноя, обнажая свои красные, истекающие кровью сердца.

Даже бледно-желтые лимоны, свешивавшиеся в таком изобилии с полуистлевших решеток и мрачных аркад, как будто сделались ярче от удивительно яркого солнечного света, а магнолии раскрыли свои шарообразные большие цветы, наполняя воздух сладким и густым благоуханием.

Маленькая Принцесса прогуливалась по террас со своими подругами, играла с ними в прятки вокруг каменных ваз и древних, обросших мхом статуй. В обыкновенные дни ей разрешалось играть только с детьми одинакового с ней сана и звания, а потому ей всегда приходилось играть одной; но день рождения был особенный, исключительный день, и Король позволил Инфанте пригласить кого угодно из ее юных друзей поиграть и повеселиться с нею. И была какая-то величавая грация в этих тоненьких и хрупких испанских детях, скользивших неслышно поступью: мальчики в шляпах с огромными перьями и коротеньких развевающихся плащах, девочки в тяжелых парчовых платьях с длинными шлейфами, которые они придерживали рукой, заслоняясь от солнца большими веерами, черными с серебром.

Но всех грациознее была Инфанта и всех изящнее одета по тогдашней, довольно стеснительной моде. Платье на ней было серое атласное, с тяжелым серебряным шитьем на юбке и на пышных буфах рукавов, а туго затянутый корсаж весь был расшит мелким жемчугом. Из-под платья; когда она шла, выглядывали крохотные туфельки с пышными розовыми бантами. Ее большой газовый веер был тоже розовый с жемчугом, а в волосах ее, которые были, как венчик из поблекшего золота на ее бледном личике, красовалась дивная белая роза.

Из окна во дворце за ними следил грустный, унылый Король. У него за спиной стоял его брат, Дон Педро Аррагонский, которого он ненавидел, а рядом с ним сидел его духовник, Великий Инквизитор Гренады. Король был даже грустнее обычного, потому что, глядя на Инфанту, как она с детской серьезностью отвечала на поклоны придворных, или же, прикрывшись веером, смеялась над сердитой герцогиней Альбукверкской, своей неизменной спутницей, он думал о юной Королеве, ее матери, которая еще совсем недавно – по крайней мере, так ему казалось – приехала из веселой французской земли и завяла среди мрачного величия испанского двора, умерла ровно полгода спустя после рождения Инфанты и не дождалась второй весны, когда в саду вновь зацвели миндальные деревья, и осенью на второй год уж не срывала плодов со старого фигового дерева, стоявшего по середине двора, ныне густо заросшего травой. И так велика у Короля была к ней любовь, что он не позволил и могиле скрыть от его взоров возлюбленную.

Он велел набальзамировать ее мавританскому врачу, которого, как говорили, уже осудила на казнь святая инквизиция по обвинению в ереси и подозрению в магии – и которому, в награду за эту услугу, была дарована жизнь. Тело усопшей и по сей час лежит на устланном коврами катафалке, в черной мраморной часовне дворца – совсем такое же, каким внесли его сюда монахи в тот ветреный мартовский день, лет двенадцать назад. И раз в месяц Король, закутанный черным плащом и с потайным фонарем в руке, входит в часовню, опускается на колени перед катафалком и зовет: «Mi reina! «Mi reina!» (моя королева). И порой, забыв об этикете, который в Испании управляет каждым шагом, каждым

движением и ставит предел даже королевскому горю, в безумной тоске хватает бледные руки, сплошь унизанные дорогими перстнями, и пробует разбудить своими страстными поцелуями холодное, раскрашенное лицо.

Сегодня ему кажется, что он снова видит ее, какой увидел ее в первый раз, в замке Фонтенбло, когда ему было всего пятнадцать лет, а ей и того меньше. В тот же день они были формально обручены папским нунцием, в присутствии короля и всего двора, и королевич вернулся в Эскуриал, унося с собой легкий завиток золотистых волос и память прикосновения детских губок, прильнувших с поцелуем к его руке, когда он сел в карету.

А потом их наскоро повенчали в Бургосе, маленьком городке, на границе двух стран; а потом был торжественный въезд в Мадрид, с обычной торжественной мессой в церкви La Atocha, и более обыкновенного торжественное аутодафе, для которого были переданы светским властям на сожжение до трехсот еретиков, в том числе много англичан.

Разумеется, он безумно любил ее, любил, как думали многие, на погибель своей страны, в то время воевавшей с Англией за обладание империей Нового Света. Он почти ни на минуту не отпускал ее от себя; для нее он забывал, или казалось, что забывал, обо всех важных делах государства и, со страшной слепотою страсти, не замечал, что сложные церемонии, которыми он искал угодить ей, только усиливали странную болезнь, подтачивавшую ее здоровье. Когда она умерла, он на время словно лишился рассудка. Он даже несомненно отрекся бы от трона и удалился бы в большой траппистский монастырь в Гренаде, почетным приором которого он состоял уже давно, если бы только не боялся оставить маленькую Инфанту на попечение своего брата, сумевшего даже в Испании прославиться своей жестокостью и многими подозреваемого в том, что это он был причиной смерти Королевы, преподнеся ей пару отравленных перчаток во время посещения королевской четой его дворца в Арагонии. Даже когда истек срок государственного траура, наложенного королевским указом на три года во всех владениях испанской короны, Король не позволял своим министрам даже и заговаривать о новом браке; а когда сам Император заслал к

нему сватов, предлагая ему в жены свою племянницу, прелестную Эрцгерцогиню Богемскую, он попросил послов передать своему господину, что он уж обвенчан с Печалью и, хотя эта супруга бесплодна, он все же предпочитает ее Красоте. Ответ этот стоил испанской короне богатых Нидерландских провинций, которые вскоре затем, по наущению Императора, восстали против Испании, под предводительством нескольких фанатиков, принадлежавших к реформаторской церкви.

Вся его супружеская жизнь, с бурными огневыми радостями и страшной мукой ее внезапного конца, как будто вернулась и прошла перед ним теперь, когда он в окно наблюдал за Инфантой, резвящейся на этой террасе. В ней была вся милая живость ее матери, та же своевольная манера вскидывать головку, тот же гордый изгиб прекрасного рта, та же дивная улыбка, – *un vrai sourire de France* (настоящая французская улыбка), когда она порою взглядывала на окно или протягивала какому-нибудь важному испанцу свою крохотную ручку для поцелуя. Но звонкий детский смех был неприятен его слуху; безжалостно яркое солнце словно издавалось над его горем, а свежий утренний воздух был пропитан, или, может быть, это ему лишь мерещилось, тяжелым запахом аптекарских снадобий, какие употребляют при бальзамировании. Король закрыл лицо руками, и, когда Инфанта снова подняла глазки на окно, занавеси были уж спущены и Король удалился в свои покои.

Инфанта сделала недовольную гримаску и пожала плечиками, – уж мог бы он с ней побыть в день ее рождения. Очень надо заниматься этими глупыми государственными делами! Или, может быть, он пошел в ту мрачную часовню, где всегда горят свечи и куда ей входить не дозволено. Как это глупо с его стороны, когда солнце светит так ярко и всем так весело! И вот теперь он не увидит боя быков – не всамделишного, а так только в шутку – к которому уже зовет звук трубы, не увидит также и театра марионеток и других удивительных забав. Ее дядя и Великий Инквизитор много благоразумнее. Они пришли на террасу и наговорили ей столько любезностей.

Она потрянула своей хорошенькой головкой и, взяв за руку Дона Педро, стала медленно спускаться по ступенькам к алому

длинному обтянутому шелком павильону, воздвигнутому в конце сада; а за нею и другие дети, в строгой последовательности, соответственно знатности рода, так что те, у которых были самые длинные имена, шествовали впереди.

Навстречу Инфанте вышла процессия мальчиков из самых знатных семейств, одетых в фантастические костюмы тореадоров, и юный граф Тьерра-Нуэва, изумительно красивый мальчик лет четырнадцати, обнажив голову со всею грацией прирожденного идальго и гранда испанского, торжественно подвел ее к небольшому золоченому, с отделкой из слоновой кости, креслу, поставленному на возвышении над ареной. Дети сгруппировались около нее, перешептываясь между собой и обмахиваясь большими веерами, а Дон Педро и Великий Инквизитор, смеясь, стали у входа. Даже герцогиня, – Camerera-Mayor, как ее называли, – тощая, с суровыми чертами женщина в желтых брыжах, не казалась такой сердитой, как обыкновенно, и что-то вроде холодной улыбки скользило по ее морщинистому лицу, кривя тощие бескровные губы.

Это, бесспорно, был чудесный бой быков – и гораздо красивее, по мнению Инфанты, чем настоящий, тот, на который ее возили в Севилью, когда у отца ее гостил герцог Пармский. Некоторые из мальчиков с важностью разъезжали верхом на палочках-лошадках, покрытых роскошными чепраками, и размахивали длинными пиками, с веселыми пучками ярких лент; другие прыгали пешие перед быком, дразня его своими красными плащами и легко вскакивая на барьер, когда бык кидался на них; что касается самого быка, он был совсем как настоящий, хоть и сделан из ивовой плетенки, обтянутой кожей, и порой упорно бегал вдоль арены на задних ногах, что, конечно, и в голову не пришло бы живому быку. Сражался он великолепно, и дети пришли в такое возбуждение, что повскакали на скамейки, махали кружевными платочками и кричали: «Браво, торо! Браво, торо!» – совсем, как взрослые. Наконец, после продолжительного боя, во время которого многие из игрушечных лошадок были проколоты насквозь рогами быка, а их наездники выбиты из седла, юный граф Тьерра-Нуэва заставил быка стать на колени и, получив от Инфанты разрешение нанести ему coup de grace, вонзил свою деревянную шпагу в шею

животному с такою силой, что голова отскочила, и обнаружилось смеющееся личико маленького мсье де Лоррэн, сына французского посланника в Мадриде.

Затем под звук рукоплесканий арена была очищена, и погибших лошадок торжественно уволокли со сцены два мавра-пажа в желтых с черным ливреях; и после краткого антракта во время которого француз-гимнаст выделял разные штуки на туго натянутом канате, – на сцене небольшого театра, нарочито для этого случая построенного, выступили итальянские куклы в полуклассической трагедии «Софонисба». Они играли так чудесно и жесты их были так удивительно естественны, что к концу трагедии глазки Инфанты затуманились от слез. А некоторые из детей даже плакали по-настоящему, и приходилось утешать их сладостями, и даже сам Великий Инквизитор был так растроган, что не удержался и сказал Дону Педро, как ему больно видеть, что простые куклы па проволоках, из дерева и крашеного воска, могут быть так несчастны и переживать такие тяжкие бедствия.

Затем следовал африканец-фокусник, который принес с собой большую плоскую корзину, покрытую красным сукном, поставил ее посередине арены, вынул из своего тюрбана какую-то чудную красную дудку и начал на ней играть. Несколько времени спустя сукно зашевелилось, и, когда звуки дудки стали резче и пронзительнее, из-под него вытянули свои остроконечные, странной формы, головы две изумрудно-золотистых змеи и медленно стали приподниматься, раскачиваясь взад и вперед, словно растение в воде. Дети, однако, немного побаивались их пятнистых клубочков и проворных острых жал; им гораздо больше нравилось, когда у них на глазах, по воле фокусника, выросло из песка крохотное апельсинное деревцо, тут же покрывавшееся хорошенькими белыми цветочками, а затем и настоящими плодами.

Когда же он взял веер у маленькой дочки маркизы де Лас-Торрес и превратил его в синюю птицу, которая стала петь и носиться по павильону, их восторг, их изумление не знали границ.

Очарователен был и торжественный менуэт, исполненный маленькими танцовщиками из церкви Нуэстра Сеньора Дель Пилар. Инфанта никогда еще не видала этого удивительного обряда, совершаемого ежегодно в мае в честь Пресвятой Девы перед Ее

высоким престолом; да и никто из членов испанского королевского дома не входил в большой сарагосский собор с тех пор, как сумасшедший священник – многие подозревали, что он был подкуплен королевой Елизаветой Английской – пытался причастить там принца Австрийского отравленной облаткой. Инфанта только понаслышке знала о «священном танце Богородицы», как его называли, и нашла, что он действительно очень красив. Мальчики-участники танца были в старинных придворных костюмах из белого бархата; их диковинные треуголки были обшиты серебряным галуном и увенчаны большими страусовыми плюмажами, и ослепительная белизна их костюмов еще больше оттенялась смуглым цветом их лиц и длинными черными волосами. Все были очарованы важностью и достоинством, с которыми они выполняли все сложные фигуры танца, изысканной грацией их медлительных жестов и величавых поклонов, и когда они, окончив танец, сняли свои огромные шляпы с плюмажами, склоняясь перед Инфантой, она чрезвычайно любезно ответила на их низкий поклон и мысленно дала себе обет поставить большую восковую свечу перед алтарем Пресвятой Девы Дель Пилар в благодарность за доставленное ей удовольствие.

Затем на арене появилась группа красавцев-египтян – как в те дни называли цыган; они уселись в кружок, поджав под себя ноги, и тихонько заиграли на цитрах, раскачиваясь в такт музыке и едва слышно напевая что-то мечтательное и тягучее. При виде Дона Педро лица их омрачились, и некоторые из них, видимо, были испуганы, ибо, всего лишь за несколько недель перед тем он велел повесить двух человек из их племени за колдовство на рыночной площади Севильи; но хорошенькая Инфанта, слушавшая их, откинувшись на спинку кресла и мечтательно глядя большими голубыми глазами поверх своего веера, совсем пленила их; они почувствовали уверенность, что такое прелестное создание не может быть жестоким ни к чему. И они продолжали играть тихо и нежно, едва касаясь струн длинными ногтями и кивая головами, как будто в полудремоте. И вдруг, с таким пронзительным криком, что все дети вздрогнули, а рука Дона Педро стиснула агатовую рукоять его кинжала, египтяне вскочили на ноги и завертелись, как бешеные, по

арене, ударяя в свои тамбурины и распевая какую-то дикую любовную песню на своем странном гортанном языке. Затем все разом кинулись на землю и лежали неподвижно, и глухой звон цитр был единственным звуком, нарушавшим тишину. Повторив это несколько раз подряд, они на миг исчезли и вернулись, ведя за собой на цепочке бурого косматого медведя, а на плечах неся несколько крохотных барбарийских обезьянок. Медведь с необычайной серьезностью встал на голову, а обезьянки проделывали всевозможные забавные штуки с двумя цыганятами, по-видимому, их хозяевами: фехтовали крохотными шпагами, стреляли из ружей, потом выстроились в ряд и начали выкидывать все солдатские артикулы – совсем как на учении королевской лейб-гвардии. Вообще цыгане имели большой успех.

Но самым забавным развлечением этого утра были, бесспорно, танцы маленького Карлика. Когда он ввалился на арену, ковыляя на кривых, коротеньких ножках и мотая огромной безобразной головой, дети подняли восторженный крик, и даже сама Инфанта так смеялась, что Камерера принуждена была напомнить ей, что хотя в Испании и не раз видали королевских дочерей, плачущих перед равными им, но чтобы Принцесса королевской крови веселилась так в присутствии тех, кто ниже ее по рождению, – это дело неслыханное.

Однако Карлик был действительно неотразим, и даже при испанском дворе, известном своим пристрастием ко всему ужасному и безобразному, такого фантастического маленького чудовища еще не видали. Да этот Карлик и выступал впервые. Его нашли всего за день перед тем; он бегал на воле по лесу, и двое грандов, случайно охотившихся в отдаленной части пробкового леса, окружавшего город, привезли его с собою во дворец, чтоб устроить Инфанте сюрприз; отец его, бедный угольщик, был только рад избавиться от такого уродливого и бесполезного ребенка. Самое забавное в Карлике, быть может, и было то, что сам он совершенно не сознавал, как он уродлив и смешон. Напротив, он, казалось, был счастлив и весел необычайно. Когда дети смеялись, и он смялся, так же непринужденно и радостно, и, по окончании каждого танца, отвешивал каждому из них в отдельности уморительнейшие

поклоны, улыбаясь и кивая головой, как будто он и сам был одним из них, а не маленьким уродцем, которого природа как-нибудь под веселую руку создала на потеху другим. Инфантою он был очарован безмерно, не мог от нее глаз оторвать и, казалось, плясал для нее одной. И когда, вспомнив, как на ее глазах знатные придворные дамы бросали букеты Каффарелли, знаменитому итальянскому певцу, которого Папа прислал в Мадрид из собственной домово́й церкви в надежде, что сладкие звуки его голоса исцелят тоску Короля, она вынула из волос красивую белую розу и, шутки ради, а также для того, чтобы помучить Камереру, с очаровательной улыбкой, бросила эту розу через всю арену Карлику, тот принял это совсем всерьез, прижал цветок к губам, уродливым и толстым, приложил руку к сердцу и опустился перед Инфантой на одно колено, причем радостная улыбка растянула рот его от уха до уха, а маленькие светлые глазки заискрились от удовольствия.

После этого Инфанта положительно не в состоянии была оставаться серьезной и продолжала смеяться еще долго спустя после того, как Карлик убежал с арены, и высказала дяде желание, чтобы танец немедленно был повторен. Камерера, однако ж, сославшись на чрезмерно палящее солнце, решила, что для ее высочества лучше будет немедленно вернуться во дворец, где для нее уже приготовлен роскошный пир, со включением настоящего пирога, какой специально подается ко дню рождения, с инициалами новорожденной из разрисованного сахара и красивым серебряным флагом на верхушке. Инфанта с большим достоинством поднялась с места, отдала приказ, чтобы маленький Карлик еще раз проплясал перед нею после сиесты и, поблагодарив юного графа Тьерра-Нуэва за устроенный ей чудесный прием, удалилась в свои апартаменты, а за нею и прочие дети, в том же порядке, как пришли.

Когда маленькому Карлику сказали, что он будет еще раз танцевать перед Инфантой по ее личному, нарочитому приказу, он так возгордился, что убежал в сад, в нелепом восторге покрывая поцелуями белую розу и выражая свой восторг самыми дикими и неуклюжими жестами.

Цветы пришли в негодование от дерзкого вторжения уродца в их

прекрасную обитель; когда же они увидели, как он скачет по дорожкам, смешно и неуклюже размахивая руками над головой, они уже не в состоянии были дольше сдерживаться.

– Право же, он слишком безобразен, чтобы позволять ему играть в тех местах, где находимся мы! – восклицали Тюльпаны.

– Напоить бы его маковым настоем, чтоб он уснул на тысячу лет, – говорили высокие огненно-красные Лилии и от гнева запылали еще ярче.

– Ужас, прямо ужас, до чего он безобразен! – взвизгнул Кактус.

– Он весь искривленный, приземистый, и голова у него несообразно велика в сравнении с ногами. При виде его я чувствую, как щетинятся мои шипы, и, если он подойдет ко мне близко, я исколю его своими колючками.

– И, вдобавок, у него в руках один из моих лучших цветков! – воскликнул куст Белых Роз. – Я сам дал его нынче утром Инфанте, в подарок ко дню рождения, а он украл мой цветок у нее. – И что было силы этот куст закричал: – Вор! Вор! Вор!

Даже красные Герани, которые обычно не спесивы, – у них у самих куча всяческих бедных родственников, – сворачивались кольцом от отвращения при виде его; и, когда Фиалки кротко заметили, что, хоть он и бесспорно очень некрасив, но ведь это же не по его вине, – Герани довольно справедливо возразили, что в этом-то и заключается главный его недостаток, и нет основания восхищаться человеком потому только, что он неизлечим. Да и Фиалки, по крайней мере – иные из них, сами чувствовали, что Карлик как будто даже кичится своим безобразием, выставляя его на показ, и что он выказал бы гораздо больше вкуса, если бы принял печальный, или хотя бы задумчивый вид, вместо того чтоб прыгать и скакать по дорожкам, принимая самые причудливые и нелепые позы.

Что касается старых Солнечных Часов, – особы очень замечательной и некогда указывавшей время самому Императору Карлу V, – они до того были поражены видом маленького Карлика, что чуть было не забыли отметить целых две минуты своим длинным теневым пальцем и не удержались, чтобы не сказать большому молочно-белому Павлину, гревшемуся на солнышке на балюстраде, что, мол, всем известно, что царские дети – это

царские дети, а дети угольщика – это дети угольщика, и безрассудно уверять, будто это не так; с чем Павлин всецело согласился и даже крикнул: «Несомненно! Несомненно!» – таким пронзительным и резким голосом, что Золотые Рыбки, жившие в бассейне бывшего холодную струею фонтана, высунули головки из воды и спросили у огромных каменных Тритонов, в чем дело и что такое случилось.

А вот птицам Карлик почему-то понравился. Они и раньше часто видели его в лесу, как он плясал, подобно эльфу, гоняясь за подхваченными ветром листьями, или же, свернувшись клубочком где-нибудь в дупле старого дуба, делил с белками собранные орехи. И они ничуть не возмущались его безобразием. Ведь и соловей, который по вечерам пел в апельсиновых рощах так сладко, что даже луна иной раз склонялась послушать его, был и сам не великий красавец; потом этот мальчик был добр к ним: в жестокую зимнюю стужу, когда на деревьях нет ягод и земля становится тверда, как железо, а волки подходят к самым воротам города в поисках пищи, он никогда не забывал о них – всегда бросал им крошки от своей краюхи черного хлеба и делил с ними свой завтрак, как бы скуден он ни был.

И птицы летали и порхали вокруг него, на лету задевая крыльшками его щеки, и щебетали меж собою, и маленький Карлик был так счастлив, что не мог удержаться, – похвастался перед ними пышною белою розой и сказал, что эту розу подарила ему сама Инфанта, потому что она любит его.

Птицы не поняли ни слова из того, что он им рассказывал, но это не беда, так как они все же склонили головки набок и приняли серьезный, вдумчивый вид, а ведь это все равно, что понимать, и вместе с тем это гораздо легче.

Ящерицам он также чрезвычайно понравился; и когда он устал бегать и прилег на траву отдохнуть, они подняли возню вокруг него и на нем самом, затеяли веселые игры и всячески старались позабавить его, говоря:

– Не всем же быть такими красивыми, как ящерицы – этого нельзя и требовать. И, хотя это звучит нелепо, в сущности, он уж не так и безобразен – если вы, конечно, закроете глаза и не будете смотреть на него.

Ящерицы – прирожденные философы и нередко часами способны сидеть на одном месте и размышлять, когда им больше нечего делать или когда погода слишком дождливая.

Зато цветы были чрезвычайно недовольны их поведением, равно как и поведением птиц.

– Это только показывает, – говорили они, – какое вульгаризирующее действие производят эта непрерывная беготня и летание. Хорошо воспитанные создания всегда стоят на одном месте, как мы. Нас никто не видал бегающими вприпрыжку взад и вперед по дорожкам или же скачущими, как безумные, по траве, в погоне за какой-нибудь стрекозой. Когда мы чувствуем потребность в перемене воздуха, мы посылаем за садовником, и он пересаживает нас на другую клумбу. Это – прилично, это вполне *comme il faut*, но ящерицы и птицы не ценят покоя; у птиц даже нет постоянного адреса. Он просто бродяги, вроде цыган, и не заслуживают лучшего обращения, чем бродяги.

Цветы вздернули носики, приняли высокомерный вид и были очень довольны, когда немного погодя маленький Карлик вылез из травы и заковылял к дворцовой террасе.

– Право же, его следовало бы держать взаперти до конца жизни, – говорили они. – Вы только посмотрите, какой у него горб на спине, а ноги какие кривые! – И они захихикали.

А маленький Карлик и не подозревал об этом. Он страшно любил птиц и ящериц и находил, что цветы – самое удивительное, что только есть во всем мире, разумеется, за исключением Инфанта; но ведь Инфанта дала ему дивную белую розу, и она любит его, а это другое дело! Как ему хотелось быть вместе с нею опять. Она посадила бы его по правую руку от себя и улыбалась бы ему, и он никогда больше не ушел бы от нее, а сделал бы ее своим товарищем и научил бы ее всяким восхитительным штучкам. Ибо, хотя он никогда раньше не бывал во дворце, он знал множество удивительных вещей. Он умел, например, делать из тростника крохотные клетки для кузнечиков и превращать суставчатый длинный камыш в такую свирель, которой внимал бы сам Пан. Он изучил все птичьи голоса и умел подражать крику скворца на верхушке дерева, цапли на болоте. Он знал, какое животное какие оставляет за собою следы, и умел выследить зайца по

легким отпечаткам его лапок и кабана по примятым и растоптанным листьям. Ему были знакомы все пляски диких: и бешеный танец осени в одежде из багряницы, и легкая пляска в васильковых сандалиях среди спелых хлебов, и танец зимы с венками из сверкающего белого снега, и вешняя пляска цветов во фруктовых садах.

Он знал, где вьют свои гнезда дикие голуби, и раз, когда голубь с голубкой попались в силки птицелова, он сам воспитал покинутых птенцов и устроил для них маленькую голубятню в трещине расколотого вяза. Маленькие голуби выросли совсем ручными и каждое утро кормились из его рук. Они, наверное, понравились бы Инфанте, а также и кролики, шнырявшие в высоких папоротниках, и сойки с твердыми перышками и черными клювами, и ежи, умеющие свертываться в колючие шарики, и большие умные черепахи, которые медленно ползают, трясая головами и грызя молодые листочки. Да, она непременно должна прийти к нему в лес поиграть вместе с ним. Он уступит ей свою постельку, а сам будет сторожить за окном до рассвета, чтоб ее не обидели дикие зубры и отощавшие с голоду волки не подкрались бы слишком близко к хижине. А на рассвете он постучится в ставню и разбудит ее, и вместе они будут гулять и плясать целый день. В лесу, право же, совсем не скучно и вовсе не так пустынно. Иной раз епископ проедет на своем белом муле, читая книжку с картинками. А не то пройдут сокольничие в зеленых бархатных шапочках, в камзолах из дубленой оленьей кожи, и у каждого на руке по соколу, а голова у сокола покрыта клобучком. А в пору уборки винограда проходят виноградари, и руки и ноги у них красные от виноградного сока, а на головах венки из блестящего плюща, и они несут мехи, из которых каплет молодое вино; а по вечерам вокруг больших костров усаживаются угольщики и смотрят, как медленно обугливаются в огне сухие поленья, и жарят в пепле каштаны, и разбойники выходят из своих пещер — позабавиться вместе с ними.

Однажды он даже видел красивую процессию, извивавшуюся, как змея, по длинной пыльной дороге, ведущей в Толедо. Впереди шли монахи, сладостно пели и несли яркие хоругви и золотые кресты, а за ними в серебряных латах, с ружьями и пиками, шли солдаты,

и посреди их трое босоногих людей в странной желтой одежде, сплошь разрисованной какими-то удивительными фигурами, с зажженными свечами в руках. Уж в лесу-то есть на что посмотреть; а когда она устанет, он отыщет для нее мягкое ложе из мха, или же отнесет ее на руках – потому что он ведь очень сильный, хоть и сам знает, что невысок ростом. Он сделает ей ожерелье из красных ягод брионии, которые так же красивы, как те белые ягоды, что нашиты у нее на платье; а если ей надоест это ожерелье, она может его бросить, и он найдет ей другое. Он будет приносить ей чашечки от желудей, и покрытые росой анемоны, и крохотных светящихся червячков, которые будут искриться, как звезды, в бледном золоте ее волос.

Однако где же она? Он спросил об этом белую розу, но та не дала ответа. Весь дворец, казалось, спал, и даже там, где ставни не были закрыты, окна были завешены от яркого солнца тяжелыми занавесями. Карлик обошел кругом весь дворец, ища, как бы пробраться внутрь, и наконец заметил небольшую открытую дверь. Он проскользнул туда и очутился в роскошной зале – увы! – гораздо более пышной, чем лес: там всюду было столько позолоты, и даже пол выстлан большими цветными камнями, уложенными в какие-то геометрические фигуры. Но маленькой Инфанта там не было: были только странные белые статуи на пьедесталах из яшмы, смотревшие на него печальными пустыми глазами, улыбаясь какой-то странной улыбкой.

В конце залы висла богато расшитая занавесь из черного бархата, усеянная солнцами и звездами – любимый узор короля, – да и черный цвет был его самый любимый. Может быть, она спряталась за этой занавесью? Во всяком случае, надо взглянуть.

Он тихонько подкрался к портьеру и отдернул ее. Нет; там за портьерой была только другая комната – как ему показалось, еще красивее той, откуда он только что вышел. Стены здесь были увешаны тканями зелеными обоями, или коврами, со множеством вышитых фигур, изображавших охоту – произведение фламандских художников, потративших больше семи лет на эту работу. Некогда это была комната Иоанна Безумного – помешанного короля, который так страстно любил охоту, что в бреду нередко пытался

вскочить на огромного, вышитого на обоях коня, взвившегося на дыбы, стащить со стены оленя, на которого кидались большие собаки, затрубить в охотничий рог и заколоть ножом убегающую бледную лань. Ныне эта комната была превращена в залу совета, и на стоявшем посередине столе лежали красные портфели министров с испанскими золотыми тюльпанами, вытисненными на крышке, с гербами и эмблемами Габсбургов.

Маленький Карлик с изумлением озирался вокруг и даже немножко побаивался идти дальше. Странные, безмолвные всадники, скакавшие так быстро и бесшумно по длинным аллеям, казались ему похожими на страшных призраков, – о них он слышал от угольщиков, – на компрачикосов, которые охотятся только ночью и если встретят человека, то превратят его в оленя и затравят насмерть. Но он вспомнил о маленькой Инфанте и это придало ему мужества. Ему хотелось бы застать ее одну и сказать ей, что он ее любит. Быть может, она в следующей комнате?

По мягким мавританским коврам он неслышно перебежал через комнату и распахнул дверь. Нет, и там ее не было. Комната была совершенно пуста...

То была тронная зала, служившая для приезда иностранных послов, когда Король – что в последнее время бывало не часто – соглашался дать им личную аудиенцию; в этой самой зале, много лет тому назад, были приняты послы из Англии, явившиеся сватать свою королеву, тогда одну из католических владык Европы, за старшего сына Императора. Стены здесь были обтянуты кордуанской золоченой кожей, а с черного с белым потолка свешивалась тяжелая люстра в триста восковых свеч. Под большим балдахином золотой парчи, на которой были вышиты мелким жемчугом кастильские львы и башни, стоял самый трон, покрытый роскошным покровом из черного бархата, с серебряными тюльпанами и пышной бахромой из серебра и жемчугов. На второй ступени трона стояла скамеечка, на которой преклоняла колена Инфанта, с подушкой из серебряной парчи; а еще пониже и уже не под балдахином – кресло, для папского нунция – единственного, кто имел право сидеть в присутствии короля во время всех публичных церемоний, и кардинальская шапка его, с перепутанными ярко-алыми кистями, лежала на обтянутом

багрянцей табулете, стоявшем впереди. На стене напротив трона висел портрет во весь рост Карла V, в охотничьем костюме, с большой собакой; а всю середину другой стены занимала картина, изображавшая Филиппа II, принимавшего дары от Нидерландов. Между окон стоял шкафчик черного дерева, с инкрустацией из слоновой кости и вырезанными на нем фигурами из гольбейновской Пляски Смерти – вырезанными, как говорили иные, рукой самого знаменитого мастера.

Но Карлика не слишком занимало все это великолепие. Он не отдал бы своей розы за все жемчуга -балдахина и даже одного белого лепестка ее за самый трон. Ему нужно было совсем другое – повидать Инфанту раньше, чем она снова сойдет вниз, в павильон, и попросить ее уйти вместе с ним, когда он кончит танец. Здесь, во дворе, воздух тяжелый и спертый, а в лесу дует вольный ветер, и солнечный свет играет на трепетных листьях, словно перебирая их золотыми руками. Там, в лесу, есть и цветы – быть может, не такие пышные, как в дворцовом саду, но зато все цветы пахнут нежнее: ранней весной гиацинты, что заливают багряной волной прохладные доли и холмы, поросшие травой; желтые буквицы, чьи гнездышки целыми семьями в суковатых кронах старых дубов; светлый чистотел и голубая вероника, и золотые и лиловые ирисы. Там на орешнике, серенькие сережки, и наперстянка, поникшая долу под тяжестью своих пестрых чашечек, излюбленных пчелами. На каштане там свои копыя, покрытые белыми звездочками, а на боярышнике, – свои луны, бледные и прекрасные. Да, конечно, она уйдет с ним – только бы ему найти ее. Она уйдет с ним в прекрасный лес, и он целыми днями будет плясать для ее удовольствия. При одной мысли об этом глаза его засветились улыбкой, и он перешел в соседнюю комнату.

Из всех комнат эта была самая светлая и самая красивая. Стены ее были обтянуты алой камчатной материей, расшитой птицами и хорошенькими серебряными цветочками; мебель была вся из массивного серебра, с фестонами из цветочных гирлянд и раскачивающимися купидонами. Два огромных камина были заставлены большими экранами, на которых были вышиты павлины и попугаи, а пол, из оникса цвета морской воды, казалось, уходил

в бесконечность. И в этой комнате Карлик был не один. На другом конце залы, в дверях, стояла какая-то маленькая фигурка и наблюдала за ним. У него забилося сердце; крик радости сорвался с его уст, и он вышел на свет. Одновременно с ним вышла и фигурка, и теперь он ясно мог разглядеть ее.

Инфанта? Как бы не так! Это было чудовище – самое уморительное чудовище, когда-либо виденное им. Непропорционально сложенное, не так, как все прочие люди: с выгнутой, горбатой спиной, на кривых, перекрученных ногах, с огромной; мотающейся с боку на бок головой и спутанной гривой черных волос. Маленький Карлик нахмурился, и чудовище тоже нахмурилось. Он засмеялся, и оно засмеялось и уперлось руками в бока, копируя его жест. Он отвесил чудовищу насмешливый поклон, и оно ответило ему таким же низким поклоном. Он пошел к нему, и оно пошло ему навстречу, повторяя все его шаги и движения и останавливаясь, когда он останавливался. С криком изумления он устремился вперед, протянул руку; и рука чудовища, холодная, как лед, коснулась его руки. Он испугался, отдернул руку, и чудовище поспешило сделать то же. Он начал было наступать на него, но что-то гладкое и твердое загородило ему дорогу. Лицо чудовища было теперь совсем близко от его лица, и в лице этом он читал страх. Он отвел рукой волосы, падавшие ему на глаза. Чудовище сделало то же. Он ударил его, и оно отвечало ударом. Он начал его ругать – оно строило ему какие-то гадкие гримасы. Он отшатнулся назад, и оно отшатнулось.

Что же это такое? Карлик задумался на минуту, оглядел остальную комнату. Странно – все здесь как будто в двойном количестве, каждый предмет имеет своего двойника за этой невидимой стеной светлой воды. Здесь картина – и там картина; здесь кресло – и там кресло. Здесь спящий Фавн лежит в алькове у дверей, и там, за стеною, дремлет его двойник; и серебряная Венера, вся залитая солнцем, протягивает руки к другой Венере, такой же прелестной, как она.

Что это?.. Эхо? Однажды в долине он крикнул, и эхо откликнулось, повторило за ним все слова. Может быть, эхо умеет передразнивать и зрение, как оно умеет передразнивать голос. Может быть, оно умеет так, шутки ради, нарочно, создать

другой мир, совсем как настоящий. Но могут ли тени предметов иметь такие же, как предметы, краски, и жизнь, и движение? Разве могут?..

Он вздрогнул и, взяв со своей груди прелестную белую розу, повернулся и поцеловал ее. У чудовища оказалась в руках такая же роза, точно такая же – лепесток в лепесток. И оно точно так же целовало ее и прижимало к сердцу с уморительными и безобразными жестами.

Когда истина наконец осенила его, он с диким воплем отчаяния, рыдая, кинулся на пол. Так это он сам – такой урод, горбатый, смешной, отвратительный? Это чудовище – он сам; это над ним так смеялись все дети, и маленькая Принцесса тоже; он-то воображал, что она любит его, а она просто, как другие, потешалась над его безобразием, над его изуродованным телом. Почему не оставили его в лесу, где нет зеркала, которое бы сказало ему, как он уродлив и гадок? Почему отец не убил его, вместо того, чтоб продать его на позор и потеху другим?.. По щекам его струились горячие слезы. Он изорвал в клочки белый цветок; барахтавшееся на полу чудовище сделало то же и разбросало по воздуху лепестки. Оно пресмыкалось на земле, а когда он смотрел на него – и оно смотрело на него, и лицо его было искажено страданием. Он отполз подальше, чтоб не видеть его, и закрыл руками глаза. Как раненый зверек, он уполз в тень и лежал, тихо стеная.

В это время через окно балкона в комнату вошла Инфанта со своими гостями и увидела безобразного Карлика, который лежал на полу, колотя скрюченными пальцами; это было до того фантастически нелепо, что дети с веселым смехом обступили его – посмотреть, что такое он делает.

– Его пляски были забавны, – сказала Инфанта, – но представляет он еще забавнее. Почти так же хорошо, как куклы-марионетки, только, разумеется, не так естественно.

И она обмахивалась своим огромным веером и аплодировала.

Но маленький Карлик даже не взглянул на нее; его рыдания постепенно стихали. Внезапно он как-то странно подпрыгнул и схватился за бок. Потом снова откинулся назад и вытянулся неподвижно.

– Это было превосходно, – сказала Инфанта, подождав немного, – но теперь вы должны протанцевать для меня.

– Да, да, – закричали все дети, – теперь встань и ступай танцевать, потому что ты так же ловок, как барбарийская обезьянка, но гораздо забавнее ее.

Но маленький Карлик не откликнулся.

Инфанта топнула ножкой и позвала дядю, гулявшего по террасе с камергером, пробегая депеши, только что полученные из Мексики, где недавно учреждено было отделение святой инквизиции.

– Мой смешной маленький Карлик капризничает и не хочет вставать. Поднимите его и велите ему протанцевать для меня.

С улыбкой переглянувшись, они оба вошли, и Дон Педро нагнулся и потрепал Карлика по щеке своею вышитой перчаткой.

– Изволь плясать, *petit monstre*, изволь плясать! Наследная принцесса Испании и обеих Индий желает, чтоб ее забавляли.

Но маленький Карлик не шевелился.

– Позвать аптечного мастера! – устало молвил Дон Педро и опять ушел на террасу.

Но камергер с озабоченным видом опустился на колени перед маленьким Карликом и приложил руку к его груди. А минуту спустя пожал плечами, поднялся и, низко поклонившись Инфанте, сказал:

– *Mi bella Princesa*, ваш забавный маленький Карлик никогда больше не будет плясать. Это жаль! Он так безобразен, что, пожалуй, рассмешил бы даже Короля.

– Но почему же он никогда больше не будет плясать? – смеясь, спросила Инфанта.

– Потому что у него разбилось сердце.

Инфанта нахмурилась, и ее прелестный розовый ротик искривился в хорошенькую, презрительную гримаску.

– На будущее время, пожалуйста, чтобы у тех, кто приходит со мною играть, не было сердца совсем! – крикнула она и убежала в сад.